



Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Филология. Журналистика. 2024. Т. 24, вып. 1. С. 70–77

Izvestiya of Saratov University. Philology. Journalism, 2024, vol. 24, iss. 1, pp. 70–77

<https://bonjour.sgu.ru>

<https://doi.org/10.18500/1817-7115-2024-24-1-70-77>, EDN: GAPPWN

Научная статья

УДК 821.161.1.09-31+9290куджава



Функция и миссия «маленького человека» в романе Булата Окуджавы «Бедный Авросимов»

М. А. Александрова

Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова, Россия, 603155, г. Нижний Новгород, ул. Минина, 31А

Александрова Мария Александровна, доктор филологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник МНИЛ «Фундаментальные и прикладные исследования аспектов культурной идентификации», nam-s-toboi@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-5183-9322>

Аннотация. Рассказ Окуджавы об «изобретении» на стадии созревания замысла книги фигуры писателя поставлен в контекст высказываний писателя о декабризме, что позволяет решить несколько задач: 1) реконструировать главные творческие импульсы автора «Бедного Авросимова»; 2) обозначить специфику познавательной стратегии романиста, охватывающей мифологизированное прошлое и трагические события советской эпохи; 3) уточнить ряд конкретных функций «маленького человека», до сих пор не отмеченных исследователями романа; 4) охарактеризовать миссию «маленького человека» как лица, призванного реализовать авторскую этическую программу. Непоследовательность романиста в стилизации мышления «маленького человека» (заглавного персонажа и его психологического двойника – рассказчика) рассмотрена как средство вовлечения читателя-современника в спор о коллизиях прошлого, unanswered XX столетием. Принципиальная новизна художественно-философского решения декабристской темы в романе Окуджавы показана на примерах из литературной критики 1970-х гг., где миф о «первенцах свободы» в двух его разновидностях (официальной либо альтернативной, культивируемой вольнодумцами) препятствовал адекватному пониманию статуса «маленького человека» рядом с исторической личностью. Отмечена диалектическая взаимосвязь гражданской непримиримости Окуджавы к идеологии Пестеля, чья государственная утопия стала советской реальностью, и милосердной этики художника, сострадающего страдальцу; мотивирована закономерность избрания «маленького человека» (который сам нуждается в снисхождении) на роль проводника пушкинской заповеди *милость к падшим*. Прослежено смелое развитие в романе Окуджавы классической традиции «маленького человека», переживающего собственную драму «слабого сердца». Переключки фантазий Авросимова о спасении Пестеля со стихотворением Пушкина «Во глубине сибирских руд...» осмыслены как сублимация авторской боли о трагических судьбах декабристов.

Ключевые слова: Окуджава, «маленький человек», Пестель, декабристский миф, Пушкин, «Во глубине сибирских руд...»

Для цитирования: Александрова М. А. Функция и миссия «маленького человека» в романе Булата Окуджавы «Бедный Авросимов» // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Филология. Журналистика. 2024. Т. 24, вып. 1. С. 70–77. <https://doi.org/10.18500/1817-7115-2024-24-1-70-77>, EDN: GAPPWN

Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)

Article

The function and mission of the “little man” in Bulat Okudzhava’s novel *Poor Avrosimov*

M. A. Aleksandrova

Linguistic University of Nizhny Novgorod, 31A Minina St., Nizhny Novgorod 603155, Russia

Maria A. Aleksandrova, nam-s-toboi@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-5183-9322>

Abstract. In the beginning of the article we correlate Okudzhava’s story about the creative history of his novel (“invention” of the scrivener’s image) with the writer’s statements about Decembrism, which allows us to solve the following tasks: 1) to restore the main creative impulses of the writer; 2) to characterize the formation of his cognitive strategy, which covers the mythologized past and the tragic events of the Soviet era; 3) to clarify a number of definite functions of the “little man” that have not yet been noted by the interpreters of the novel; 4) to highlight the mission of the “little man” that reveals Okudzhava’s ethical principle. We consider the artist’s inconsistency in stylizing the thinking of the “little man” (the lead character and his psychological counterpart – the narrator) as a means of involving the contemporary reader in a dispute about the conflicts of the past inherited by the 20th century. We show the fundamental novelty of the embodiment of the Decembrist theme in the mirror of the perception of literary critics of the 1970s, who remained in the grip of the myth of the first Russian revolutionaries in its two varieties (official or alternative, cultivated by freethinkers), which interfered with the proper perception of the status of the “little man” next to a historic figure. Our task is to show that the merciful ethics of the artist, compassionate to the sufferer, soften Okudzhava’s civic intransigence towards the ideology of Pestel, whose state utopia became a Soviet reality; thus, we substantiate the regularity of the election of the “little man”, who himself needs indulgence, to the role of the spokesman for Pushkin’s commandment of “mercy to the fallen”. We trace the bold development



in Okudzhava's novel of the classical tradition of the "little man" experiencing his own drama of the "weak heart". The echoes of Avrosimov's fantasies about saving Pestel with Pushkin's poem "Deep in Siberia's mines..." are comprehended in the article as a sublimation of the author's pain about the tragic fate of the Decembrists.

Keywords: Okudzhava, "little man", Pestel, Decembrist myth, Pushkin, poem "Deep in Siberia's mines..."

For citation: Aleksandrova M. A. The function and mission of the "little man" in Bulat Okudzhava's novel *Poor Avrosimov*. *Izvestiya of Saratov University. Philology. Journalism*, 2024, vol. 24, iss. 1, pp. 70–77 (in Russian). <https://doi.org/10.18500/1817-7115-2024-24-1-70-77>, EDN: GAPPWN

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0)

Рассказ о творческой истории «Бедного Авросимова» Б. Окуджавы обычно начинал с «изобретения» фигуры писателя: «Когда я листал протоколы допросов декабристов <...>, меня поразило совершенно, что каждый лист допросов записан чудовищно неграмотно. <...> Но писарь должен был быть дворянином – в такой комиссии. Значит, я вообразил себе какого-то провинциального дворянина, <...>, чудом попавшего в этот высокий комитет в Петербурге, не умеющего толком писать, но пишущего. Вот я себе представил его – и передо мной возник образ Авросимова, и он заслонил Пестеля, и он стал главным действующим лицом романа» [1, с. 114]. Подобные формулировки лишь отчасти соответствуют реальности: с появлением Авросимова Пестель не превратился во второстепенную фигуру, роман сложился как двугеройный. Цитированный автокомментарий ценен в качестве дополнения к другим высказываниям Окуджавы.

Вскоре после публикации романа писатель выразил своё отношение к советскому культу «пламенных революционеров», определив любимцев советской исторической литературы как предмет вдохновения чужого, не способного увлечь его самого: «... продолжать исследовать их деятельность значило для меня переливать из пустого в порожнее» [2, с. 344]. Г. А. Белая приводит лаконичный отзыв Окуджавы о Пестеле, прозвучавший, по всей видимости, на встрече с читателями: «Меня испугал фанатизм этого человека и оттолкнул от него. Меня не вдохновлял такой героизм. Это был "не мой" герой» [3, с. 14] (разрядка принадлежит Г. А. Белой. – М. А.). В домашней беседе с кинорежиссёром Владиславом Виноградовым неприятие выражено более эмоционально: «И вот, когда я изучал эти документы, я невзлюбил Пестеля. <...> Не то что невзлюбил – не мне судить его через сто пятьдесят лет, – я вдруг увидел в нём проявление такого страшного деспотизма и фанатизма» [4, с. 78]. Отсюда понятно, что разочарование в общепризнанном Герое предвляло и мотивировало рождение вымышленного персонажа. При всём том Пестель оставался фигурой «неотменяемой», а трезвый взгляд на историческую личность по-новому сопрягал прошлое и насто-

ящее (см. об этом: [5, с. 321–323]). Писарь, материализовавшийся из безграмотных протоколов, получил ответственную роль: «Все сюжетные линии романа подчинены центральной – разгадке Пестеля Авросимовым» [6, с. 155].

Для формирования познавательной установки Окуджаве потребовалась ещё одна инстанция – безымянный рассказчик, «родственному» сочувствующий персонажу: «Иван Евдокимович Авросимов <...> не успел пронумеровать и половины объёмистой тетради, как затылком ощутил, что в комнате появились люди. Они вошли неслышно, чем немало смутили нашего героя и даже повергли его в трепет. И действительно, шутка ли сказать, но как бы вы, милостивый государь, не вздрогнули и не сжались бы, когда в комнату, где вы приспособились быть один со своим занятием, вдруг пожаловали столь знатные особы, рядом с которыми вы ничто?» [7, с. 26] (здесь и далее курсивы в цитатах наш. – М. А.).

Сказовая манера, замыкающая рассказчика и Авросимова в особом, далёком от читателя мире, выдержана Окуджавой не строго. Авторский лиризм проступает в рассуждении о вечных законах человеческого сердца: «Ах, милостивый государь, она не была красива, не была! Но разве в нашей власти понять эту странность, когда не красоте мы отдаём своё сердце?» [7, с. 143]. Авторский голос вплетается в речь рассказчика, оценивающего политическую дерзновенность Пестеля: «Так, может, прав этот чёртов полковник, вознамерившийся избавить нас от вечного страха и от вечного предчувствия беды? Да, но при сем мерещилась ему кровь (вы помните?), без которой не мыслил он будущего благоденствия! Так что же лучше-то? Ах, что же лучше?..» [7, с. 223]. Тем самым чаемое Пестелем благоденствие сопрягается с хорошо знакомой советскому читателю практикой воплощения социальных утопий. В то же время автор дистанцируется от общеобязательного тезиса «дело их не пропало», доверяя «маленькому человеку» нарочито многословное рассуждение о цене прогресса, адресованное такому же, как он сам, растерянному свидетелю исторических перемен: «Я, милостивый государь, позволю себе высказать



вам свою мысль, которая давно во мне утвердилась, но которая когда возникла, волосья мои подняла дыбом. “Что же это такое? – рассуждал я по секрету. – Полковник Пестель призывал <...> рабство сломать и многим русским людям дать жить по-людски, а не по-скотски. Прав был Пестель или нет? Злодей он или пророк? *Ежели он не был прав, зачем же наш нынешний государь, я вас спрашиваю, дал народу волю?* Стало быть, Пестель был прав? Ах, милостивый государь, а ежели он прав был, ежели он прав был, за что же его так позорно казнили?” Это я открыл для себя и вам *первому сообщаю по большому секрету, и тут я вижу, как вы бледнеете.* Но вы погодите и слушайте дальше...» [7, с. 162].

Непоследовательность Окуджавы в стилизации мышления «маленького человека» могла восприниматься как знак «необязательности» такого рассказчика и такого персонажа в декабристском контексте. По убеждению литературного критика, искавшего в художественно-исторической прозе прежде всего воплощений ленинской революционной телеологии, провинциальный недоросль не должен был становиться свидетелем «первого этапа освободительного движения», но ещё предосудительнее склонность автора «растворяться» в рассказчике, который «плохо разбирается в политической программе декабристов» [8, с. 178, 179]. В. Гусев, будучи менее ортодоксален, тоже счёл «маленького человека» непригодным для роли свидетеля исторической трагедии. Писателю следовало выстроить художественный мир, соразмерный Пестелю, «как мы его представляем по его поведению, многим чувствам, мыслям, внешности и, наконец, просто по ситуации, в которой он “остановлен” в этом романе»; исторической теме отвечает «тот стиливой “алгоритм”, который связан в нашем сознании с Пестелем – умным, чётким, интеллигентным и суховатым», тогда как присутствие Авросимова и его двойника-рассказчика задаёт «совершенно неуместную» тональность [9, с. 247].

О расхождении познавательных стратегий писателя и литературных критиков советской эпохи свидетельствуют даже высказывания в пользу «маленького человека». Сам принцип «непрямого» изображения исторического события А. Латынина сочла вполне правомерным, но в его реализации усмотрела некую избыточность, увлечение формой, приёмом в ущерб теме: «Дополнительный [по отношению к восприятию Авросимова] стерео-эффект возникал от введения образа рассказчика – человека 60-х годов XIX века. Это была удачно найденная точка

зрения. И всё же в сложном смещении планов была, на мой взгляд, некая искусственность, изящная игра» [10, с. 11]. Напротив, по версии Е. Клепиковой, автор «Бедного Авросимова» не дал полную волю своему артистизму (что произойдёт в следующем произведении с «маленьким человеком» в качестве заглавного персонажа – «Похождениях Шипова»), поскольку творческую свободу ещё сковывал исторический факт и сам Пестель, «герой статуарный» [11, с. 36]. Б. Хотимский признавался, что «нетерпеливое желание найти в нашей прозе по возможности всеобъемлющее художественное воплощение» личности Пестеля помешало ему в своё время оценить по достоинству «Бедного Авросимова»; однако перемена мнения привела к новой односторонности: оценив творческую плодотворность обращения исторического романиста к судьбам обыкновенных («маленьких») людей, литературный критик охотно смирился с «недостаточной освещённостью образа Пестеля» в романе [12, с. 496]. Иными словами, значение «маленького человека» для воплощения исторической концепции Окуджавы не открылось доброжелательному читателю. Окуджавскую коллизию «великого» и «малого» точнее многих современников определил В. Перцовский: «великий человек» становится доступен пониманию и суду «маленького человека», чьё нравственное чувство – «надёжный критерий в оценке исторического деятеля» [13, с. 159, 160]. Впрочем, трактовка этого суда свелась к оправданию и возвеличению Пестеля. Первые истолкователи «Бедного Авросимова» пребывали «внутри» декабристского предания, не допуская самой мысли об особой позиции автора романа.

Взаимопонимание писателя и читателей осложнялось тем, что миф о «первенцах свободы» раздвоился, и за «правильное» изображение его героев ратовали участники нараставшего идеологического противостояния. Официальная версия мифа к 1970-ым гг. деградировала до степени самопародийности (см. об этом, в частности: [14, с. 262]); напротив, декабристский культ, возвещённый «Завистью» (1944) Наума Коржавина, на протяжении десятилетий порождал замечательные художественные, публицистические, научно-популярные произведения [15, с. 50–51]. Ни убожество репрезентации советской исторической доктрины, ни талантливость её оппонентов и человеческая симпатия к ним не мешали Окуджаве вникать в закономерности большевистского «присвоения» декабристов. Политические декларации Пестеля убеждали



писателя в реальном родстве всех постреволюционных диктаторов: «Мне даже стало страшно, когда я подумал о том, что теория Пестеля и его линия могли бы восторжествовать. <...> Потому что я прочёл “Русскую Правду”, а там чёрным по белому написано, что мелкие народы, допустим Северного Кавказа, должны будут выселены в Сибирь. Что потом и осуществилось, кстати, Лаврентием Павловичем и Иосифом Виссарионовичем» [4, с. 80]. Такой актуализации истории в публичном высказывании препятствовали не только цензурные условия. «Полемика с “чужими” на почве истории неизменно укрепляла веру либеральной интеллигенции в собственный “проект прошлого”. Между тем рефлексия о сущности читаемого “своими” наследия всегда требует незаурядной отваги» [15, с. 58], и поиск аргументов, способных преодолеть самозащиту приверженцев мифа, весьма труден. В конце 1960-х Окуджава только начинал этот путь; как автор «Бедного Авросимова», он формально разрешил проблему, приняв за точку отсчёта позицию несведущих, ограниченных своей «малостью» персонажа и рассказчика. Писарь, участвующий в отыскании «Русской правды», выслушивает наставления, сколь важен для следствия «сей ужасный документ» [7, с. 152]. Именно чужая оценочная формула выражает – за неимением других средств – ужас писателя перед государственной утопией Пестеля, обернувшейся реальностью XX столетия. Итак, предпосылки выбора фигуры исторического свидетеля, избавляющей автора от необходимости справляться с нерешаемой задачей, были весьма драматичны, и вынужденный компромисс оставил след в поэтике романа. А. Федута справедливо замечает, что само обращение к типу «маленького человека» характеризует социально-историческое самочувствие автора: оба претерпевают давление времени, живя «в схожую по степени возможностей эпоху» [16, с. 592].

С другой стороны, «маленький человек» в эпицентре трагедии декабризма – творческое решение, которое обеспечивало автору особого рода свободу. Убеждения Пестеля были неприемлемы для Окуджавы-гражданина, но его художническая этика неизменно милосердна. Отказав потенциальному диктатору в идейной солидарности, обвинив его от лица жертв другой эпохи, писатель не мог не сострадать страдальцу. Исполнение гуманистической миссии естественным образом принимает на себя «маленький человек» – тот, кто сам нуждается в снисхождении.

Принципиально новая ситуация вырастает непосредственно из классической традиции. Вынесенный в название книги эпитет *бедный* напоминает о художественном мире Достоевского, где слово из арсенала сентиментализма обнаружило смысловые «бездны» [17, с. 48], а чувствительность предстала спутницей социальной уязвимости – драмой «слабого сердца» (о диалоге Окуджавы с Достоевским см.: [18, с. 29–39]). В присутствии чиновного «ослепительного воинства» [7, с. 29] писарь то впадает в оцепенение, то переживает странное томление духа: «Авросимов был доволен собой, <...> *ощущая себя приобщённым к важному делу*, хотя в темечке всё что-то ныло едва-едва, *словно бы кто стоял сзади молча*» [7, с. 35]. Растерянность провинциала в столице дополнительно (тоже достаточно традиционно) мотивирует уязвимость персонажа. Простодушие взрослого дитяти и деревенское, усадебное здоровье Авросимова – всё подчеркивает страдательное положение «маленького человека»:

«– Ваше сиятельство, – взмолился он, коченея на ветру, – велите мне исполнить, что вашей душе угодно будет! Я всё могу. Я только этих разговоров не могу выдержать, как они меня подминают, ваше сиятельство!

– Да ты что? – спохватился граф. – Эк его трясёт. *Такой медведь, а стонешь*» [7, с. 164].

В диалог с Пестелем «маленький человек» вовлекается словно бы невольно, вопреки своей благонамеренности: «Господи, как это прекрасно придумано, что человеку непричастному можно дышать свободно, что есть судья, который всё видит, всё знает и ни в чём его не собьёшь. *Ведь могло бы случиться так, что он, Иван Авросимов, ходил бы, влача цепи на ногах... ан не случилось.* <...> Куда вели злодея [Пестеля], Авросимов не понял, <...> но он ещё раз радостно вздохнул, будто только что *сам вырвался на свободу*, да к тому же перестал семенить и голову вскинул, *чтобы уж никак не было сходства, чтобы лишний раз для самого себя хотя бы почувствовать пропасть меж собой и им...*» [7, с. 28]. Пропасть, разделяющая писаря и злодея, который упорно отрицает свою причастность к заговору («никогда, ничего, никому, нигде» [7, с. 35]), исчезает в кошмарном сне Авросимова, где он сам призван к ответу:

«– Где, когда, для чего, с кем?»

И Авросимов, оказалось, сидел перед ним [графом Татищевым] в Пестелевом кресле с



голубыми протёртыми подлокотниками и никак не мог решить, на какой вопрос отвечать сперва: “С кем?” – или: “Для чего?”

И в тот самый миг, когда он, обливаясь потом, полный ужаса, решил всё же на первый, какой-то бес его обуял вдруг, и он выговорил одним духом:

– Нигде, никогда, ни с кем, никуда...» [7, с. 45].

Приснившийся допрос – проекция странных отношений Авросимова с графом, который то ободряет подчинённого, то мучает его насмешками и подозрениями; в то же время сон дублирует «игру» следствия с декабристами. «Маленький человек» не только буквально вторит Пестелю, но впоследствии даже «подменяет» его собой: «“Кабы я был на его месте, – подумал наш герой, – я бы не упорствовал, не гордился бы, я бы государю в ноги упал”. Авросимов явственно увидел себя самого, одетого в полковничий мундир, и как он валится в ноги царю: “Помилуйте, ваше величество!” Но царь глядит на него с недоверием, поджав губы» [7, с. 160].

Черты внешнего облика Авросимова и Пестеля возводятся в символ. Один – «рыжий великан» с деревенским румянцем на щеках, единственное живое лицо среди обступивших Пестеля «белых морщинистых масок» дознавателей-судей: «У него хоть щёки розовые, не в пример этим. На него хоть смотреть можно...» [7, с. 37]. Другой своей бледностью, пронзительными глазами, осанкой, ростом и жестами похож на Бонапарта; иначе говоря, он олицетворяет власть над душами, чью силу «маленький человек» чувствует особенно остро: «Пестель скрестил привычно руки на груди, словно забыв, что он – пленник. “А кабы он стал государем?” – подумал наш герой, исподтишка разглядывая Пестеля, и вздрогнул: Павел Иванович смотрел на него тяжёлым взглядом, напомнив Бонапарта с известной литографии» [7, с. 72]. Но Пестель – Бонапарт после Ватерлоо [19, с. 74–75], пленный во власти победителей. Отсюда парадоксальное развитие портретной символики. Однажды Авросимов видит «страшного человека, который решился потягаться с государем», в каземате:

«На что надеялся гордец, возомнивший о себе бог знает что? Друзья от него отворотились, их сиятельство его боится, а раз боится, стало быть, сотрёт. Авросимову он душу возмутил <...>. Зачем же?!

Как он шагнул вперёд, наклонив голову, словно расшвырявший бык – на красное, он и не помнил. Это была свирепость от горя и испуга, и боль клокотала в этом неопытном теле, когда

он взмахнул рукой, так что железная кружка отскочила прочь, как безумная, и затарахтела по каменному полу в тишине.

Можно было подумать, что наш герой сейчас обрушится на пленника и задавит, но тарыхтение злополучной кружки вдруг отрезвило его, и он замер.

Павел Иванович глядел на него вполборота. Вдруг он легче тени скользнул с табурета, поднял кружку, подал её нашему герою, а сам покорно воротился на своё прежнее место.

Ах, как бы вам, милостивый государь, увидеть это! Увидеть, как злодей, имеющий даже сходство с французским узурпатором, сгибался над тюремной кружкой и подносил её как бы даже с поклоном нашему герою, оцепеневшему в своей нежданной роли. <...>

– Господин полковник, – сказал Авросимов, – извольте принять опросные листы.

Павел Иванович с тою же поспешностью, что и прежде, выхватил папку с бумагами из рук нашего героя и зашуршал листами <...>.

Авросимову показался он ещё ниже, чем в Комитете, <...> и нелепая эта фигура вызвала больше сожаления, нежели гнева» [7, с. 158–159].

Наполеоновский рост Пестеля оборачивается «малостью» совсем иного свойства – слабостью любого человека перед государственной машиной; русский Бонапарт словно бы меняется статусом с Авросимовым-великаном. Хотя малейший среди представителей власти даже не подозревает о своём угрожающем виде, в его присутствии арестант характерным образом умалывается: торопливо, спеша оправдаться, вносит поправки в заполненные листы показаний.

В речах рассказчика слабость предстаёт универсальным человеческим свойством: «Ах, сколько соблазнов нас подкарауливает на пути нашем! И мы только тем и отличаемся один от другого: поддались или не успели» [7, с. 150]. Для наблюдающего машину следствия в действии («А ежели безвинным пасть под неё?..» [7, с. 223]) всё более зыбкой становится граница, разделяющая участников трагедии: «И снова нашему герою показалось, что это он, Авросимов, не сделавший никому никакого зла, и есть узник» [7, с. 203]. Юнец, переживающий «сердечное кипение, всякие планы, эдакий взлёт душевный», и в то же время обречённый на «страдания, зависимость и страхи» [7, с. 155], ощущает родство с подпоручиком Николаем Заикиным. Вызвавшись указать место сокрытия «Русской правды», тот на глазах Авросимова пережил «чудо падения от страстного взлёта в бездну, от самопожертвования к рыданиям и страху» [7, с. 199].



Неблагообразная фамилия реального участника Южного общества, противоречащая утончённому облику юного офицера [7, с. 150], сделана в романе «говорящей»: «бедный мальчик-подпоручик» [7, с. 183], «мальчик этот несчастный» [7, с. 188] «запнулся» на пути к идеальной цели. Его судьбу повторяет младший брат – *подпрапорщик Фединька Заикин*. Так окончательно соединяются намеченные ранее мотивы малости, слабости и детскости. К *несчастливым мальчикам* влечётся душа *бедного Авросимова*, взрослого ребёнка. Но и Пестеля в крепости тревожат воспоминания о «больших детских глазах» князя Трубецкого [7, с. 71], о «худенькой руке» Евгения Оболенского [7, с. 161].

Когда подпоручик, «слабый друг [полковника] заторопился прочь» от «соблазнителя» [7, с. 203], сострадательный Авросимов занял опустевшее место. Воображаемая им беседа переиначивает трагическую исповедь Заикина о моральной капитуляции перед проповедником «точной науки» революции [7, с. 203]. Математический холод отвлечённого ума Пестеля и «машинное» действие его сильной воли [7, с. 203] сменяются теплом человечности, высокомерная ирония вождя – сердечным юмором старшего друга:

«И тут он увидел себя синеглазым поручиком, легко взбежавшим по дрогнувшим ступеням на малороссийское крыльцо, и шпоры его зазвенели, словно это и в самом деле было, <...> когда-то, когда он ехал через Малороссию и <...> докатился до Линцов, где проживал тогда полковник <...>».

<...> Павел Иванович, будучи в расположении, сказал доверительно:

– Вот вы скачете, скачете, пот у вас струится, и щёки у вас пунцовеют, как у барышень, а в глазах – одно дилетанство. Заранее предвижу каждый ваш жест... Вам боязно, да стыдно признаться...

– Хитрец вы, Павел Иванович, – засмеялся Авросимов и погрозил полковнику пальцем, – меня поддеть хотите, да я не дам. Вы отменный соблазнитель. А у вас щёчки-то, глядите, какие пунцовые у самого-то...

– Это на деревенском воздухе, – вдруг смутился Пестель» [7, с. 235–236].

Взаимное поддразнивание снимает с Пестеля вину за идеологическое соблазнение *малых сих*, а новый виток символизации внешнего облика в очередной раз сближает антиподов.

Пребывая одновременно в прошлом и настоящем, фантазёр-дилетант получает преимуще-

ство перед логиком-профессионалом. Из жалости к обречённому *поручик Авросимов* раз за разом подтверждает всё, что Пестель хочет услышать:

«– Скажите мне, господин поручик, насколько верите вы в успех нашего предприятия?»

– *Верю, верю, – слишком поспешно откликнулся наш герой, словно от его ответа всё и зависело. <...>*

– <...> Вы верите, что всё сложится удачно?

– Да, – сказал Авросимов, *не веря*, то есть не то что не веря, а уже зная о сем...» [7, с. 236, 237].

Не в силах изменить общий ход событий, Авросимов принимает на себя ответственность за судьбу *несчастливого полковника*. Фантазии об устройстве побега Пестеля из каземата Петропавловской крепости разрастаются, порождая сначала загадочного помощника Филимонова, затем всё новых заговорщиков и сочувствующих, чья активность начинает пугать самого «спасителя». Этот гротескный фон оттеняет патетическую кульминацию фантазий. В эпизоде, оформленном как стихотворение в прозе, отсылающем к важнейшей репрезентации декабристского мифа – пушкинскому «Во глубине сибирских руд...», смысл миссии окуджавского «маленького человека» раскрывается с предельной полнотой.

Один вид крепости, которая особенно страшна в ночи, перечёркивает все планы и расчёты Авросимова, вынуждая его уповать на чудо: «Как же всё это должно свершиться? Как же будет он уходить от сих стен, сквозь решётки, через штыки? <...> Или действительно есть Филимонов, которому всё нипочем? Или воистину весь Петербург только этим и дышит, вздымая свою большую грудь, и будет так, что все, крича и ликуя, хлынут на эту стену, так что она рухнет, и полковник, пожелтевший от раздумий и боли, выкарабкается из-под развалин, чтобы упасть людям на руки?» [7, с. 253]. Ожидание общего ликования, переданное серией нетерпеливых вопросов, – параллель к призыванию радости в пушкинском стихотворении, а образ рухнувшей стены непосредственно восходит к финальной метафоре *темницы рухнут*; сравним:

...Придёт желанная пора:
Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут – и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут [20, с. 49].



В своём понимании пушкинского стихотворения Окуджава не зависел ни от известных ему поэтических прочтений классического текста, ни от трактовок советских литературоведов (см. об этом: [21, с. 114–116]). Об утопии концепции «Во глубине сибирских руд...», имеющей опору в романтической эстетике чудесного и христианской этике, впервые будет написано в 1990-е гг. В. М. Марковичем: «Как только названы силы, способные преодолеть то, что разъединяет и сковывает людей (такими силами оказывается любовь, дружба и поэтическое творчество), немедленно проявляется вера в расторжение оков, крушение темниц, радостную встречу со свободой, в торжество справедливости и человеческого братства. <...> Объяснение <...> отсутствует: непонятно, как смогут воздействовать “любовь и дружба” (или “свободный глас” поэта) на общественную жизнь, как вызовут они в ней глубочайшие перемены. Но в самом интонационном звучании текста <...> ощущается абсолютная уверенность в том, что это произойдёт непременно» [22, с. 73].

С пушкинской утопией резонирует лирика Окуджавы, где событие чуда становится возможным благодаря романтическому двомирию [23]. «Несчастью верная сестра, // Надежда» [20, с. 49] воскресает в окуджавской персонификации Надежды: «Ты наша сестра...» [24, с. 359] (см. об этом подробнее: [21, с. 120]). Но в «Бедном Авросимове» упование на чудо, сохраняющее связь с авторским сознанием, корректируется и «законом вечной прозы» [24, с. 336], и специфической психологией «маленького человека»: его мечтательность, визионерство расцветает на почве бессилия перед Историей. Пушкинский утопизм, понятый Окуджавой столь глубоко, не может быть унаследован.

Сибирское послание – ободряющий *свободный глас* поэта, доносящийся в *каторжные норы*. В романе Окуджавы из-за тюремных стен взывает узник, который совсем не похож на *хранящих гордое терпенье*: «Кто призывал к себе нашего героя? Кто это там, где-то, на него надеялся? Чья обессиленная душа, запутавшись в сомнениях и страхе, нуждалась в нём так отчаянно и горячо?» [7, с. 185]. У Пушкина субъекты действия – сами чувства *любви и дружества*, причём развитие темы свободы «акцентирует отсутствие конкретного представления о происходящем» [22, с. 71–72]. Именно метафоричность речи даёт возможность пережить радость здесь и сейчас, предвосхитив освобождение. Напротив, окуджавский мечтатель пытается понять: «Как же всё это должно свершиться?»

Буквализация метафоры *темницы рухнут* («все, крича и ликуя, хлынут на эту стену...» [7, с. 253]), конкретность фантастического действия означает заведомую несбыточность желанного события. Если Пушкин лирическим усилием разрешает современную, длящуюся драму, то автор «Бедного Авросимова» имеет дело с исторической реальностью, которая так и не оправдала надежд на преображающее мир торжество *любви и дружества*. Иллюзии разоблачаются самым образным строем мечтаний «маленького человека». Позволяя персонажу мечтать о невозможном, автор сублимирует собственную боль.

Смелая разработка классического литературного типа в «Бедном Авросимове» заложила основы окуджавской антропологии: «маленький человек» станет сквозной метафорой слабости в поединке с историей и олицетворением самой человечности. Понимая *бедность* как заведомое несовершенство *малых сих*, а переживание собственного несовершенства – как условие гуманного отношения к другим, Окуджава навсегда отдаст «маленькому человеку» привилегию на *милость к падшим*.

Список литературы

1. Окуджава Б. «Я никому ничего не навязывал...» [Ответы на записки во время публич. выступл. 1961–1995 гг.] / сост. А. Петраков. М. : Кн. маг. «Москва», 1997. 288 с. (Библиотека «Ваганта», вып. № 205–213).
2. [Окуджава Б.]. Русские писатели в журнале «Secul 20». Булат Окуджава [о романе «Бедный Авросимов»] // Вопросы литературы. 2007. № 1. С. 344–346.
3. Белая Г. А. Булат Окуджава, время и мы // Окуджава Б. Избранные произведения : в 2 т. Т. 1. М. : Современник, 1989. С. 3–24.
4. Виноградов В. Монолог Мастера о декабристах // Голос надежды: Новое о Булате. Вып. 6 / сост. А. Крылов. М. : Булат, 2009. С. 76–83.
5. Александрова М. А. Пестель vs. Пестель: трагедия Л. Зорина «Декабристы» и роман Б. Окуджавы «Бедный Авросимов» // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Филология. Журналистика. 2022. Т. 22, вып. 3. С. 320–329. <https://doi.org/10.18500/1817-7115-2022-22-3-320-329>
6. Дронова Т. И. История глазами художника (Источник и его осмысление в романе Б. Окуджавы «Бедный Авросимов») // Очерки по истории культуры : науч. сб. / редкол. : В. В. Пугачев (отв. ред.) [и др.]. Саратов : Изд. центр Саратовского экономического ин-та, 1994. С. 152–170.
7. Окуджава Б. Бедный Авросимов // Окуджава Б. Избранные произведения : в 2 т. Т. 1. М. : Современник, 1989. С. 25–264.



8. Левкович Я. Восстание декабристов в советской художественной прозе // Русская литература. 1975. № 4. С. 167–179.
9. Гусев В. Герой и стиль. М. : Художественная литература, 1983. 286 с.
10. Латынина А. «Частный человек» в истории // Литературное обозрение. 1978. № 5. С. 10–15.
11. Клепикова Е. Доказательство от обратного // Литературное обозрение. 1976. № 4. С. 35–37.
12. Хотимский Б. Поэт приходит в прозу // Окуджава Б. Избранная проза. М. : Известия, 1979. С. 494–505.
13. Перцовский В. Нравственный поиск исторической прозы // Сибирские огни. 1975. № 1. С. 152–165.
14. Александрова М. А. Советская критика об исторической прозе Б. Ш. Окуджавы: перевёрнутая страница? // Забытые и «второстепенные» критики и филологи XIX–XX веков : материалы науч. конф. «Пятое Майминские чтения» (Псков, 14–17 ноября 2004 г.) / [редкол. : Н. Л. Вершинина (отв. ред.) [и др.]. Псков : ПГПУ им. С. М. Кирова, 2005. С. 259–267.
15. Александрова М. А. Творчество Булата Окуджавы и миф о «золотом веке». М. : Флинта, 2021. 592 с.
16. Федута А. Реинкарнация Башмачкина (Маленький человек как свидетель истории) // Сборник Матице Српске за славистику. Књ. 92. Нови Сад, Србије, 2017. С. 585–595.
17. Зорин А. Л., Немзер А. С. Парадоксы чувствительности: Н. М. Карамзин «Бедная Лиза» // «Столетия не сотрут...»: Русские классики и их читатели : сб. М. : Книга, 1989. С. 7–54. (Судьбы книг).
18. Александрова М. А. «Маленький человек» в романе Булата Окуджавы «Бедный Авросимов»: диалог с Ф. М. Достоевским // Швейцарские тетради. Вып. 11. Нижний Новгород : НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, 2021. С. 29–39.
19. Дронова Т. И. О символистской традиции в исторической прозе Б. Окуджавы: диалог с Д. Мережковским в романе «Бедный Авросимов» // Античный мир и мы. Вып. 6. Материалы и тезисы конференции (Саратов, 22–23 апр. 1999 г.). Саратов : ГосУНЦ «Колледж», 2000. С. 71–78.
20. Пушкин А. С. Полн. собр. соч. : в 16 т. Т. 3, кн. 1. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1948. 635 с.
21. Александрова М. А. «Оковы тяжкие падут, темницы рухнут...»: пушкинская поэтическая утопия в рецепции Булата Окуджавы // Болдинские чтения. Нижний Новгород : ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2021. С. 114–124.
22. Маркович В. М. Чудесное в интимной и политической лирике Пушкина (К проблеме: Пушкин и русский утопизм) // Маркович В. М. Пушкин и Лермонтов в истории русской литературы: Статьи разных лет. СПб. : Изд-во СПбГУ, 1997. С. 66–94.
23. Александрова М. А. «Чудесный случай» в лирике Булата Окуджавы // Случай и случайность в литературе и жизни : материалы конференции (Пушкинские горы, 6–10 июля 2005 г.). СПб. : Пушкинский проект, 2006. С. 183–197.
24. Окуджава Б. Стихотворения. СПб. : Академический проект, 2001. (Новая библиотека поэта).

Поступила в редакцию 18.09.2023; одобрена после рецензирования 22.10.2023; принята к публикации 10.11.2023
The article was submitted 18.09.2023; approved after reviewing 22.10.2023; accepted for publication 10.11.2023